94\_02\_Балтин

***Александр Балтин***

*Рассказы*

**Дом теряет людей, как старая птица перья.**

Полосатая ленточка, которой ограждено не большое пространство с чуть оперившимися апрельскими кустами, трепещет на ветру, бьётся, стремясь сбежать, улететь скорее — позавидовав птицам.

Губу обжёг, прикуривая на лоджии, глядя вниз — язычок огня, крохотный зверёк зажигалки, лизнул, оставив капельку острой боли — пройдёт через неделю, растает, эхом огня отзвучав.

От толстой массы алоэ отделяя по листу, извиняясь перед растением, будешь прикладывать, ощущая вязкую горечь полезного сока.

В чём польза изменений?

Дом стар, кирпичная, оранжево-рыжеватая девятиэтажка; твой дом стар, как ты — полвека ему, и состав жильцов, меняющийся постепенно, говорит о стремительности её — долгой, муравьино-кропотливой жизни, длящейся две секунды: обыденной, а так хотелось яркости фейерверка…

Некогда в однокомнатной квартире, дверь в дверь, обитал Сашка, с женой Иркой и собачкой Чарликом: милейшая, основательно-серьёзная такса.

Важный, как премьер-министр, Чарлик, бывало, заходил в гости.

Утром раздавался дверной звонок: пчёлка его кусала сознание…

Ты открывал, и Сашка, улыбаясь, протягивал руку.

Что-то шуршало, цокало, Чарлик мал, низок, как положено, ты не заметил, как он прошёл, отправился в большую, со своим космосом, комнату.

— Чего ты? — Спрашивал Сашку.

— Я ничего. Чарлик в гости просился.

Он мог просидеть полдня, продремать, уютно устроившись в кресле…

Сашка кем только не был: плавал на исследовательских суднах, фотографии завораживали, служил участковым, рассказывая про тогдашний денежный избыток; он охотился, собирал ножи: когда показывал коллекцию, особенно мне запомнился гнутый непальский клинок; мы выпивали — то у него, то у меня, и, когда выяснилось, что продаёт квартиру, шибануло шоком, как током.

У Ирки от первого брака сын — родила в восемнадцать: она простушка, работала тогда администратором в ресторане, а сын снаркоманился совсем, и, спрашивая у Сашки, мол, ничего нельзя сделать? понимал, что ответит.

Девочку, внучку Иркину, взяли они себе: мила была, белокурая, но — мала однокомнатная, мала совсем, и — выставили на продажу…

Я не знаю путей, которыми проходили, но квартира, купленная на окраине Москвы, в одном из сонных, спальных районов, была объёмна, и, когда уезжали, понял: больше не увидимся.

В квартире организовалось гостиница семейного типа, менялись постояльцы, но ни шуму, ни скандалов не предполагалась, и вот теперь поселилась молодая пара с собачкой. Последняя — пушистый такой шарик, иногда тявкает забавно, будто для того только, чтобы обозначить присутствие своё в мире.

Девушка мила, невысокая и словно тоже пушистая, как собачка, а парень рыжебород, неулыбчив: контрасты притягиваются — девушка улыбается всегда.

Как их зовут?

В двухкомнатной, похожей на мою, жила с начала дома Галина с Лёнькой…

Сын — пузат, замедленный, в общем доброжелателен, выпуклые глаза на выкате, вальяжен, явно ленив.

Тот вариант — когда человек плывёт в розоватом облаке лени, наслаждаясь физиологией существования, чью философию и не тщится постичь.

Нет, одно время они жили большой семьёй: Лёнькина жена, их дочка, потом — жена с дочкой переехали, хотя не разводилась с Лёнькой, продолжавшим жить с мамой.

Практичная Галина жаловалась порой, что не находит общего с ним языка.

Она сдавала на неделю, на две квартиру иностранцам, зарабатывала, чем могла, некогда работавшая в ТПП СССР: дом сдавался в дебрях семидесятых именно от палаты…

Потом Лёнька умер — в 58.

Мне мама говорит: Саш, какие-то странные цветы к Гальке несли, не понравилось мне, надо б узнать.

Чем-то занятый, не придал значения сказанному, почти отмахнулся: узнай…

И на следующий день, вернувшись — допустим, из магазина или откуда-то ещё, свершив нечто необходимое и сущностно незначительное, услышал: Саш, Лёнька умер…

Ухнуло нечто.

Сел на банкетку в коридоре.

Нет, не дружили, поддерживая меру добрососедства; не дружили, но — будто зияние с обугленными краями разошлось в воздухе, пугая и отвращая, как часто бывало при известии о смерти знакомых людей.

Как жила Галина потом?

Невестка и внучка навещали часто.

Её квартира аккуратна.

Она всегда свежа и чисто убрана, пёстрые, декоративные тарелки и картины на стенах, безделушки на поверхностях качественной мебели.

Раз, возвращаясь из «Магнита», помахивая батоном в мягкой целлофановой упаковке, увидел Галину, болтавшую на скамеечке с дядей Славой с первого…

— Саш! — вдруг окликнула, прерываясь. — Можешь сейчас зайти?

— Могу, Галь.

Зашёл.

В коридоре — коричневатые коробки, полные обыденным скарбом бытия.

Галя, зайдя в одну из комнат, выходит, неся пёструю, красивую тарелку.

— Саш, Ольга посуду любила. Возьми на память.

Мамы не стало.

Пережить свою боль невозможно, и, учась постоянно тянуть жизнь с нею, понимаю, что, как игрок, боль куда сильнее меня.

— Спасибо, Галь…

— Саш, я продала квартиру!

Нечто сжалось во мне неоправданным ужасом — дом теряет старожилов, как старая птица перья.

— Галь, зачем, а?

— Саш, тяжело одной. К своим поеду.

— Кто ж купил?

— Молодая пара, девочка маленькая у них…

Тарелка осталась.

Молодая пара вселилась, на лестничной площадке появились аккуратные, застланные мягкой, цветной тканью саночки.

Иногда пересекаемся с новыми соседями, я не знаю их имён, как они моего: подвижный, на манер блёсткой ртути парень, худ и невысок, жилист и всегда вежлив; девчушка — милая крошка, а жена парня?

Я не рассматривал, как-то не зачем.

Координат Галины у меня нет и не было, и жива ли она, уже крепко ушедшая за восемьдесят, по виду не скажешь, не узнаю…

Уже никогда.

Лижет огонёк «никогда»: лижет… губу души, как зажигалка чиркнула по моей: ну, я начал с этого, если помните.

В трёхкомнатной квартире обитал Колька со второй семьёй.

Лена его: худа и энергична, лукава немного, но доброжелательна вполне, златовласка: из Мурманска, получила в Москве банковское образование, демонстрируя классическую провинциальную хваткость.

Цепкость — ветки жизни должны подчиниться.

Моложе Кольки лет на 15, он же уехал составом себя за пятьдесят, и Катька, поздняя дочка их, ему — сгусток солнечного света.

Вот, сидят на скамейке у дома, едят мороженое, и забавно так пихаются, будто участники мультфильма.

— Как дела? — возвращаюсь откуда-то.

— Нормально, дядь Саш!

— Щас в музшколу хулиганку поведу!

— Чегой-то я хулиганка, па?

— А кто ж ты! — улыбается, пихая её и получив толчок в ответ.

— Нравится музыка, Кать?

— Ага!

Спелая, зрелая музыка жизни, текущая скорбью…

Впрочем, это моя — у Кольки другая: до пятидесяти бурлил восторгом жизни по каждому поводу, а перейдя рубеж, скрипеть стал, помрачнел, пить к тому же бросил, загасив дополнительный источник радости.

Где Колька?

Пропал…

Давно не вижу ни его, ни Лены, ни Катьки.

Миша, живущий на первом, дружил ближе: часто пересекаемся, гулять выходя.

— Миш, куда Коля делся?

— Они в Израиле, Саш!

Круглоголовый Миша, всегда и весь подчёркнуто аккуратный, хорошо укоренён в жизни, да и поездил не мало, не представляю, работая кем.

— В Израиле? Ну и ну… Что они там делают?

Он рассказывает про определённые программы, участником одной из которых стал Колька, и вот — уехали туда…

— А дочка?

— Учится там. Одновременно уча иврит.

Хочется спросить про аквариумы и шиншиллу.

Вторая, забавная такая полукрыска-полубелка, жила в решётчатом дворце, и, когда Катька показывала мне её, хотел потрогать — чуть-чуть, забавную мордочку, от которой усы расходились вибрациями.

— Ой, куснула…

Милый щипок, больше похожий на звериную ласку.

А аквариум у Кольки был огромный: сияли, плавно свершая жизнь, экзотические рыбы.

Хочется спросить — не спрашиваю…

— Миш… навсегда что ль уехали?

…вот Колька, ликуя, мчится по двору на маленьком, чьём-то самодельном мопеде; завидев меня, машет рукой…

— Саш, не знаю. Пока им надо год продержаться, потом они получат документы, используя которые можно жить в любой стране мира.

Расходимся с Мишей.

Лифт, как всегда, нетороплив, он важный такой — будто это мы для него существуем, а не он для нас.

Он важный, как Чарлик, которого нет давным-давно в пределах трёх измерений, где всё настолько подчинено плотной материальности, что поверить в парения запредельности невозможно.

Колька с семьёй в Израиле.

Солнце печёт.

Евангельские пейзажи предстают в слоисто-прозрачном мареве.

Галина в неизвестности, с родными…

Сашка ест жизнь в далёком спальном районе — как она его.

Я, задержавшись на минуту на лестничной площадке, что-то трудно, мучительно, больно перекатываю в мозгу…

Варится каша коровья: так у неё, поди, в огромной её голове, вязнут туго подобия мыслей, пока неустанно работает рот, перемалывая жвачку травы.

Я, открывая дверь своей квартиры, где так давно нет мамы.

Захожу, отразившись в огромном, бело-свинцовом зеркале, и, ощущая, как дом теряет людей, будто старая птица перья, хочу заплакать.

Но слёз нет.

**Друзья Козерога**

Изловлен ловкими людьми Соломона, будет ему, царю царей, владевшему кодами подчинения духов, служить — мудростью своей, изначально поразив оной.

Нечто от кентавра: полтора сердца бьются, пульсируя, разделённые перегородкой: человечье и полуконское.

Но — золотятся с оранжевым отливом, крылья птицы: жар-птицы пролетали, разроняв перья фантазий, становящихся — в силу определённых обстоятельств жизненного закрута — интереснее обыденности.

Чья суть должна быть расцвечена райскими травами, которые, соединяясь усиками, стеблями, грамматическими разводами, цифровой конструкцией перистых листьев и образуют Китовраса, представляй, как угодно…

…пока над ним, тенью накрывая небольшой город, пролетает птица Рух, совсем не важно скрещение линий — арабских, ветхозаветных, современных: вернее — только оно и важно, ибо Козерог дружит с подобными существами.

Козерог выходит из воды, и, сделав, что положено, пусть весь ободравшись, и протянувшись лабиринтами отчаяния, снова уходит в прозрачную воду вечности, где рядом, плещется, совсем не страшный, огромный, с птицу Рух, величественный Левиафан, сразу втягивающий в себя океан: ради рифмы.

Ряды их щёлкают, цвиркают, распадаются диссонансами — фон-Левиафан…

Ясновидящая, предпочитавшая — с улыбочкой — именоваться обыкновенной, грешной, земной женщиной сказала:

— Ты же Козерог, что ты хочешь? Мистика будет прорастать в тебя подспудно, как дружба с Левиафаном и птицей Рух.

А потом — добавила про воду, из которой выйдя, я совершу, что должно, и, так до конца и неся невыносимую тоску по маме, с которой не расставался 54 года, уйду вновь в водную сферу: прозрачную, вечную, видно всё дно.

…в Несебре, замечательное кружево ветхого древа, сидели с мамой на террасе высокого, над лазуритом моря, кафе: и видно было, несмотря на расстояние, нежное струение водорослей…

Обородатевший ими крупный камень.

Тела купальщиков и купальщиц нежно изламывались известьем воды.

Кабинет ясновидящей, крепко и банально помещавшийся в пятой горбольнице купецкой, ветхой, как Китоврас, Калуги, был обширен, на стенах висели изображения, и по поводу испугавшей меня пентаграмма, сказала: «Это просто символ человека. Та, которой ты боишься, должна быть перевёрнута».

Ужель ты испугался пентаграммы?

Ясновидящая зажигала тонкую свечу, капелька воска, прозрачно-янтарная, сбегала по стволу её, как день — по стержню вечности.

Потом у неё — биоэнерготерапевта, как было написано на двери кабинета — появился шарик: красивый, он сиял прозрачно, играя многоцветными улыбками бликов, и я спросил: «Зачем?»

— Пока не знаю. — Ответила таинственно. — Привыкаем друг к другу.

Могучий шелест крыльев не слышала она: но я, козерожьим взглядом озирая внутренний, легко-зелёный двор, видел же — пролетает птица Рух, влечётся оливковая тень по земле; пролетает, неся в кривых, размером с деревья, когтях каркаданнов.

Вы не знакомы?

Род единорогов, обитающий в Персии, Северной Африке, Индии; они свирепы, и вовсе не мудры, мудр Китоврас, подсказывающий Соломону верные решения, помавая крылами; а они, каркаданны, — горазды пырятся: одиноким своим, как у нарвала, рогом…

Жерар де Нерваль бы доволен русским созвучием: нарвал — Нерваль.

Каркаданны обитают в странах, чья словесная вязь, — сама уже великолепный визуальный орнамент: и, налюбовавшись ею, завернувшись во впечатления, как в плащ, я ухожу от реальности — в роскошную ночь своих фантазий.

Ах, никуда не уйти.

Дверь закрывается поворотом ключа — он холодит пальцы, оставляя на них слабый запах металла.

Магическим знаком дверь не замкнуть.

Лестничная площадка пуста.

Лифт, важный, как министр движения, медлит.

Потом, когда кану из бездны подъезда в реальность двора, понимаю, что не взлететь ни при каких обстоятельствах — только от водки, за которой иду в Магнит, пестреющий нутром, как пищевая оранжерея; за которой иду, уповая…

Китоврас смотрит на меня: мерцают крупные, удлинённые ланьи очи…

Нечто женское?

Нет, он жёстко хранит свой пол.

Сжимает не зримый жезл власти.

Китоврас, царствовавший в Лукорье, сиятельными ступенями поднимавшимся к метафизическим небесам граде, он правил людьми — днём, животными — ночью.

Он решал их проблемы, и люди, заворожённые простою мудростью решений, не хотели власти иной, а животные теряли хищность, подчиняясь сакральному свету Китовраса, запрещающему взаимопожирание — которое ввёл Анатэма, какому Л. Андреев, не ведающий, что у него родился пророк, не позволит преодолеть врата.

Китоврас знает много врат: вот эти, скрипучие, как сама старость — усталость — от власти, пусть и облитой бархатом мудрости.

Он уходит из Лукорья, и люди Соломона ловят его.

Он не сопротивляется — лучше взаимодействовать с подобным царём, чем со…

Птица Рух, пролетая, теряет перо, которым может воспользоваться, как игрушкой, Левиафан, заскучавший в сплошной прозрачности океана.

Китоврас подсказывает царю, как лучше сохранить ковчег завета, и царь, следуя советам, понимает, что только символы и знаки, воплощённые в островах-образах искусства, имеют силу не-тления.

Пока я, Козерог, дружащий с такой невероятной троицей, проходя узким ущельем меж девятиэтажными, кирпичными, рыже-оранжевыми домами, ощупываю в косных карманах куртки чекушки: ими удобнее считать алкогольную норму.

Две фляжки прозрачной дымки, сгущённой в сорокоградусную влагу.

Два часа полноценного общения с моими любимыми друзьями.

Потом — глухой омрак сна, золотящегося разным, и — скудное пробуждение в серую скуку реальности.

**Или — или**

Кайф прогула, дающий острую, как рыбья кость, иллюзию свободы, требует усиления опалового ощущения, и шестиклассник, предпочитающий пестроту улицы убогой ограниченности класса, отчасти гордясь собой, лезет по пожарной лестнице школы.

Сначала сложно: прыжок, зацепиться за края, преодолеть не большое пространство, заколоченное досками (вы жили в СССР?); потом — руки наполняются лёгкими звонами, тело приятно вибрирует от покоряющейся высоты, и предвкушение сладости шалости волшебно играет в недрах сознания.

Здесь!

Класс виден в окно — скучно аккуратный, как тетрадки отличницы, математически-строго сидящий; и очкастый Петров, вот ведь змеюка! восседает торжественно, сложив слабые свои лапки.

Ни разу не подтянется!

Тогда Егоров, одолевший метры пожарной лестницы, высовывает язык, одновременно выставив чертячьи рожки правой рукой, и жадно ожидает, когда будет замечен…

Будет.

Марь Петровна, обернувшись, наткнётся серыми своими глазами на язык, как штырёк, и рожки эти…

Всплеснёт руками, прервав речь об каких-нибудь ацтеках — вот ведь скука! какая разница, как они жили! и, сомневаясь, даже с дрожью, поди, подойдёт к окну.

Ведь, если сорвётся он, Егоров, сорванец из сорванцов, будет и ей, училке, неприятное нечто — в рёбра судьбы!

Он не сорвётся, не ждите: ловок, драчун, качок; и, видя жестикуляцию учительницы, намекающую на необходимость спуститься, только сильнее будет махать рукой с рожками.

Девчонки прыскают смехом; она, Марь Петровна, шикает на них.

Мордочка Петрова, частично скрытая большими очками, выражает недовольство.

Всё обошлось, конечно: спустился, был схвачен, скручен, пытали, казнили!

Ишь, размечтался…

Нет, отчитывали просто, родителей в школу тягали, да привыкли те к сыночкиным выкрутасам, что им — мол, и хотели б сделать нечто, да не знаем, как…

— Ты, Петров, висишь, как мешок! — вклеить бы хорошую матерную блямбу, да физрук рядом…

Егоров тут — почти царь: всё на физкультуре ладно у него, девки любуются, пока он — любуется их задами и наливающимися грудями.

Или налившимися…

Снопы пшеницы живот твой, гроздья винограда…

Так выражался б висящий тупо на перекладине Петров, не способный подтянуться ни разу…

Мешок и есть.

— Ша, Егоров! — физрук, вполне поддерживающий его, не должен допускать ран конфликтов.

Петров бухается вниз: долговяз и не складен.

— А ты, Петров, по-английски ни бум-бум!

— Нужен мне твой английский! — подходит, пружинист, к перекладине, и сейчас легко, считайте только, подтянется двадцать раз…

А потом, на истории, Петров, встав и не зная куда девать руки: выглядывают, как хорьки, будто обнюхивая пальцами ближнюю реальность, завернёт такой доклад об инках, что Марь Петровна заслушается, умильно сложив пухлые руки с тонкими, красно наманикюренными коготками.

Или инков не проходили в советской школе?

Вспомни теперь.

— Пацаны, магаз взять — классное дело. Мы ж лихие парни…

— Ладно, Егор, не подбивай, куда нам…

Егор — понятно Егоров.

— Туда, Кислый, подготовиться, конечно, надо.

— Какой ты брать собрался?

— Ну не продуктовый же! не молоко ж с рогаликами тырить!

— Шмотки?

— Ну, куртки. Классные тут видел…

— В каком?

— В том, что за булочной…

Штырь глядит на Егора преданно: на любое дело пойдёт, лишь бы Егоров одобрительно кивнул.

Родаки у Штыря — алкаши глухие, как он вообще ещё в школе держится, непонятно…

— Лучше морду Петрову набьём, очки его чёртовы расшибем! — Предлагает Кислый.

Егоров великодушен:

— Чё его бить-то? Саданул раз он и потёк. Меня побей, попробуй! А он… пусть живёт…

Разумеется, они говорят, густо уснащая речь матом.

Не сознавая, что он — сквернословие, не понимая, как сквернят слова — что их сквернить-то? Вон их сколько.

Пока Петров — одинокий до ощущения онтологического ветра, продувающего душу, — сидит над книгами, погружаясь в слои истории, пёстрой и такой разнообразный, странствуя по художественным лабиринтам, шлифуя английском, на котором столько хочется прочитать.

Ведь Шекспир вовсе не гладок: он непроворотен, сложен и тёмен; а Джек Лондон писал так, как писал бы у нас двоечник, вдруг, ни с того, ни с сего, начитавшийся Державина и Карамзина.

Они отрабатывают карму — каждый свою: Петров и Егоров, хотя никогда бы не подумали об этом, живя в СССР, не зная, что страна обречена уже, и взрослая их жизнь пойдёт вне идеологии, которая внедрялась в умы столько лет.

— В том, что кармы не существует в земном варианте бытия, легко убедиться, посмотрев списки не раскрытых преступлений. Тяжёлых преступлений. И никто из совершивших вовсе не стремиться донести на себя: мол, я старушку укокошил. Ещё к этому возьмите тиранов, поглядите их истории, сколько было, хотя б в одной Латинской Америки, совершая массу преступлений, нарушая все законы христианства, они живут долго, многие из них, и умирают в своих постелях…

Меч кармы вспыхивает в тонкой руке Петрова, и, словно преобразовавшись, он пускает молнии из круглых шариков глаз.

Так бы говорил… на каком-нибудь классном часу, начитавшись сладко-запретного тогда, отец, физик с широкими гуманитарными интересами, приносил ксероксы.

Классный час Петров, стянув на себя метафизическое одеяло, может исполнить, как соло; а на огоньке, что устраивает добрая и такая сексуальная Марь Петровна, прочитав стихи, чем завораживал, сожмётся дальше в уголке, когда зашумят, забушуют танцы, и, словно уменьшившись в росте, будет жадно грызть ногти, мечтая одновременно — потанцевать с Олькой, первой красавицей, и сбежать.

С Олькой танцует Егоров, давно знающий, как сладко и сочно устроена женская плоть, и, танцуя, легко сжимая её податливое тело, думает неожиданно: не думает, а бесенята мыслей прыгают в лаборатории мозга: Какая карма? Он сумасшедший что ли, Петров, со своими стихами и прочей мурой?

Олька прижимается к нему, спортивно скроенному, выстроившему своё тело Егорову, шепчет: «У меня родители на два дня на дачу уезжают».

Петров исчез.

Растворился в книгах своих.

Их связывает нечто: незримо и невозможно: Егоров никогда не позволит задеть Петрова, сам задевая его только словесно: остро ему кажется, примитивно на деле, Петров может ответить так витиевато, что никто ничего не поймёт.

Он и не рассчитывает.

Их связывает нечто, и сам Егоров, ощущая зыбкости волокон-вибраций оной связи, никогда не признался б в них, а Петров и вовсе теряется от мыслей о подобном.

Его уважают — Петрова, не дружа с ним; с Егоровым дружат, побаиваясь, а так… уважать-то за что?

Восхититься могут, как девчонки.

Петров идёт в гору.

Он отличник, если б не физкультура, медаль была б его.

Золотая.

Крупный кругляш успеха.

…но как одолеть эту физру, когда козёл подставляет железные ноги, канат смеётся, вихляясь, а косный турник немо издевается своей недостижимостью: ну не приближается он никак, и слабые руки не позволят изменить ситуации.

Ничего.

Он и так, без физры, коронной штуки Егорова, поступит в универ на исторический, и двинется своей исследовательской дорогой.

Он уже шуршит листами собственных монографий, и — как знать? — может быть, именно он расшифрует код истории, чего не удавалось никому.

Тогда все девки эти будут…

Петров обрывает себя, и, взглянув в зеркало, на некрасивое своё, удлинённое, с островками прыщей лицо, укоряет себя — не из-за девок же!

О нет, конечно! Он видит мистические, роскошно-замшелые мосты, парящие в воздухе, и, взяв начало, где угодно, соединят с вожделенными землями, которых нет: с Византией ли, лучащейся столькими тайнами…

Да хоть с Атлантидой.

Спускайся по щедрым ступеням, Петров!

Ну, а Егоров взял магазин.

Взял с приятелями, ловок, натаскал их, натренировал, настроил, придумал план — отвлекающий маневр крутанулся легко, куртки стали ихними.

Мат восторга звенел…

Потом Егоров учудил такое, что загремел на малолетку.

Олька плакала.

Петров, хотевший утешить, не решился подойти.

Олька плакала, влюблена, Катька тоже расстроена была, а Женька, не подавая виду, что-то чертила в тетради.

СССР ещё казался твердыней.

Страны не стало, когда Петров поступил в аспирантуру, а Егоров, отсидев, заматерев, получив наколки, как знак уголовного достоинства, вышел, готовясь к участию в разливе творящегося.

Густевшего страшными деньгами.

Ещё ему очень нравилась фикса на зуб, с тонким узорчиком, Петров бы оценил, ха-ха…

Где он, кстати?

А вот: вернувшийся из универа, где друзья нашлись, хотя дружба эта весьма ограничена профессиональными интересами, раскладывает бумаги, погружаясь в исследования…

Он сопоставляет и анализирует, волшебные шары счастья взлетают, унося его в другие эпохи, и выводы, которые он делает, побывав во многих археологических экспедициях, будут оценены по достоинству.

Он защитит кандидатскую, станет преподавать, по-прежнему угловато держась с девушками и женщинами, так страшно уколоться насмерть, потом пройдёт путь до докторской.

Византийские эмали: разбавить синий цвет, так хватило б окрасить вновь созданное море! куда интереснее разломов, разносящих страну…

Ты, Петров, из тех, кто способен влюбиться только в Клио.

Или в Симонетту Веспуччи.

Даст тебе это счастье?

Петров, знающий про игры «я» и «не-я» ответит: Счастье — понятие, интересующее рабов и женщин, а мне важно знание, и, кроме него, мир, который я создаю.

Или — воссоздаю, отбирая у темнот времени, гораздых стирать всё. Как какого-нибудь Егорова…

Который развернётся в развалах страны: с пистолетами и автоматами, финки — так, игрушки, но он собирает их, неплохо умея крутить и метать, с рэкетом и фирмами, с бабами, о! их море! Таких, что внешности Клио позавидует, когда б обрела плоть! С рейдерскими захватами и корешами, многие из которых готовы подставить — при ярой возможности; иные — за тебя и жизнь отдадут, как ты за них, как Зуб или Лера; со всеми ворохами нарастающих слоёв…

Банковская деятельность подключится: Петров бы рассказал тебе о длинной истории банков, о феномене финикийских пиратов, не знавших, куда девать награбленное, свозивших его на берег, где и организовывались эти структуры, быстро набиравшие жир, и, мистически почти начиная играть чрезмерную роль.

Петров бы рассказал — да тебе не важно.

Егоров, набирая больший и больший вес, уже и официальными фирмами обзаведётся, преуспевая, постепенно попадая в разряд уважаемых людей, восседая в мраморно-кожано-роскошном офисе собственного банка, где так мило и успокоительно журчит фонтан, а классическая секретарша, сияя белозубой улыбкой, всегда к услугам.

Можно и вторую занять.

Негритяночку — по контрасту, а, Петров?

И животик у Егорова уже наметиться, забывает про тренировки, пьёт теперь исключительно виски или элитные коньяки…

Достаток одинокого Петрова, рано потерявшего отца, и долго жившего с мамой, относителен, монографии его вышли, много было статей, и, одинокий, тощий и лысый, в очередной раз усаживая себя, всё надоедает, за статью, думает, а не лучше было бы…

Думаете они встретятся?

Где им встречаться, вращающимся в не пересекающихся мирах…

Но помнят друг о друге, железно помнят, иногда сосредотачиваясь на школьном образе: как мол, жизнь другого сложилась?

Вы бы какую предпочли?

Да, я забыл — у вас же своя.

У каждого она — безнадёжно своя.

**Старик без моря**

Кусает пчёлка момента, и человек, ещё официально не въехавший на территорию старости, воображает себя стариком.

Гнутые корни вен, и тугая, вязкая кровь, двигающаяся по ним спорадическими толчками; руки, усеянные гречкой, какую не сварить, будто в них, в руки, уже положена земля.

Тело рыхлое, как простокваша, худое тело холодно, никак не согреть.

И как это «я», которое не расшифровать, обитает в нём…

Опять снилось: мама, сияющая, тёмноволосая мама, ведёт за ручку в детский сад, где над песочницей спутанные тополиные ветви бросают лёгкую, оливковую тень в неровности игрового рельефа.

— Ма, я уже почти все цифры могу писать! — хвалится малышок, ощущая себя абсолютно защищённым.

— Молодец, заяц!

Я заяц, прыг-скок.

Он вырывает ручку, чтобы поскорее бежать к своим.

Он, тяжко ворочаясь под одеялом, думая сразу — о крови, пульсирующей толчками, о возрасте, навалившим мешки с чем-то на тело, о маме, которой нет столько, будто приснилась, скрипя и кряхтя, выбирается из кровати.

Голова кружится слегка.

Что ещё?

Дыхание вырывается из телесных недр так, будто каждая порция его стоит дорого-дорого.

Никаких сияний.

Апрель, вдруг принявшися играть снегом, как ребёнок, которого нет, не сулит тепла, которое любит старик, тянется к лету всем цветком себя.

В старости люди становятся добрее и умнее?

Прочитал где-то — теперь убедишься, насколько это не так: набранные за жизнь навыки не делают умнее, а добрее?

Просто равнодушие — пред печатью смерти — овладевает ко многому: где раньше начинал бурлить эмоциями, теперь даже не шелохнёшься душою…

Вот и всё добро.

Старик думает, встав и отправляясь в ванну, что злым никогда не был, что зло — совсем плохо, и столько его вокруг.

Кто сказал, что павликиане не правы?

Большинство людей вообще неосознанные ариане.

Старик некогда много читал, сильно болея Богом, так ни к чему и не придя, он и теперь читает: от газет до книг, не привыкнув к компьютеру.

Мама варит кашу на кухню.

Молодой человек, спешащий в институт, на ходу хватает несколько ложек, а отца они похоронили уже, живут вдвоём.

Что будет, когда мамы не будет?

Старик, бывший молодым человеком, спешившим в институт, отгонял эту мысль, приятно считать, что мама бессмертна.

Приятно, спасительно.

Он умывается, одинокий старик, изучивший, большую часть жизни штудировавший онтологию одиночества; он умывается отфыркиваясь, чистит зубы дешёвой пастой.

Надо мыло купить — мокрый зелёный кусок неумолимо тает.

То же мне, снег!

Но тот не бывает зелёным.

На кухне, быстро вырастает хризантема огня, старик варит овсянку: мама считала её самой полезной из каш, почти всегда завтракали ею, и мама до конца, упорно, держалась за жизнь, дом обихаживала, как могла.

Он был безбытен.

Не особенно ладилось всё.

Но в жизни как-то укоренился, бухгалтером работая, зарабатывал достаточно, всегда, при всех режимах в цене.

Похоронщики, бухгалтера, врачи…

Если бы я был похоронщиком?

Масса каши густеет, крошечные гейзеры лопаются на поверхности, и, выключив огонь, старик, чтобы прошло какое-то время, и каша остыла, идёт поливать цветы.

Пластиковая бутыль на подоконнике наполняется постоянно.

Она потемнела — бутыль сия, она стала несколько мятой, и, полив любимый бальзамин, старик говорит ему: «Не болей, а…»

Он хочет сказать, как ему одиноко, но…

Некогда разойдясь с женой, так и не женился вторично, а то, что не было детей, болью прошивает сознанье, привыкшее ко многим болям за жизнь.

Старик, вернувшись на кухню, выкладывает кашу на тарелку, чай заваривал вчера, и, вспомнив, что не подогрел чайник, включает его…

Движения сопровождаются разными болями: как, по какой шкале сопоставить, какая серьёзней — боль, поедающая изнутри, или эта — физическая, разная…

Руки дрожат слегка.

Простые вещи выпадают из памяти.

Мама в своём байковом, пёстром халате, входит на кухню.

— Будешь кашу, мам?

— Да, сынок.

То, что не войдёт никогда, также, как и то, что не услышать слово «сынок» в свой адрес, режет и режет.

Невидимый скальпель, но не лечит он.

Простейшие вещи выпадают из сознания: позавтракав, старик пересчитывает деньги, оставшиеся от пенсии, хранит их в ящике стола.

Будто игра — выдвинул, деньги есть.

Потом они тают, как мыло, как снег.

Потом приходят новые, будто денежная субстанция живёт своей жизнью.

Человек не может жить, но живёт, одолевая неведомое ему пространство будущего, столь стремительно превращающееся в прошлое, и покуда добрый бог павликиан не победил, приходится терпеть всё зло, наваливающееся постепенно.

Смерть родителей.

Одиночество.

Старость.

Собственную смерть не перетерпеть.

Старик одевается — медленно, иначе туго, толчками ползущая по венам кровь не позволяет теперь; он одевается в аккуратный, старый и дешёвый, серый костюм, хочет всегда выглядеть прилично.

Он, одевшись, видит себя в зеркале: жёлто-серое лицо, лоб высок, будто был философом всю жизнь, морщинистый пергамент кожи.

Неприятно смотреть.

Остатки седых волос.

Причесать их.

Расчёска в ванне, на подставочке, рядом с зубной щёткой, ножницами, ещё какой-то бытовой мелочью.

Холодновато на улице.

Дорожки черны, снег быстро размокает апрелем, но лежит белизна на пространствах, не предназначенных для ходьбы.

— Привет, дядь Слав!

Женька с первого этажа, высокий, ражий и жизнелюбивый, глядит дружественно.

— Здравствуй, Жень. Как дела?

Рукопожатие старика ещё достаточно крепко, чтоб думать о смерти.

А как о ней не думать?

— Отлично? Как вы? Помощь не нужна?

— Спасибо, Жень. Справляюсь.

Мельком в бессчётный раз, подумав о том, что в районе хорошая инфраструктура, идёт в Магнит.

Что надо?

Никогда не записывал, поэтому чуть не автоматически покупает молоко, гречку, хлеб, кефир, макароны.

Взять сосиски?

Подумав, старик покупает компактную упаковку куриного мяса, варить?

Потушить…

Мама готовила превосходно, густота её супов воспринималась, как пищевое счастье, разнообразие вариантов мяса мнилось бессчётным, как и превосходная выпечка, слоившаяся таким смаком.

Старик готовит просто, да и есть часто не хочется, иногда просто заталкивает в себя еду…

Духовное важнее?

Тогда почему, объясните, без молитвы, церкви, равно — музыки, физики, живописи, поэзии можно жить хоть девяносто лет, а без еды — два или три десятка дней?

Без воды и того меньше.

Старик никогда не голодал, и никогда не был церковным: захаживая иногда в разные храмы, стоял, скорее вслушиваясь в себя, нежели в церковное пространство, силясь понять нечто.

Ничего не понял.

Может, перед смертью откроется нечто?

…отец умер, когда ему было девятнадцать — мягкий интеллигентный физик-отец: просто сжало сердце, неотложка увезла его, а через день — позвонили.

Похоронная суета отвлекает на чуть, и, столкнувшись с первой смертью, старик не слишком осознал, как жалит она.

Узнал потом, теряя близких, и, перебирая их имена, или вглядываясь в фотографии, как в церкви когда-то, силится представить — где они?

Мама снится.

Старик расплачивается.

Черноволосая нацменка за кассой красива.

Старик выходит в белизну дня, идёт, шаркая, и пластиковый пакет, вместивший нехитрый рацион его, покачивается чуть-чуть…

Старик обходит двор, совершая не большую прогулку.

Он совершает её, чтобы столкнуться с сочинителем, изобретающим его жизнь, и утром укушенному пчёлкой момета: когда я буду стариком…

Старик минует его, сочинителя, не узнав, поднимется по лестнице, потом на лифте, чтоб погрузиться в бездны своего одиночества, пока сочинитель, никак не способный пережить маму и наградивший этим же старика, видит, как из подъезда его выходит Зуля, ведя Катю и Полинку — дочек.

Много лет прошло.

Они прошли, протекли, песок в перешейке стеклянных часов, и сочинитель вспоминает, как носился во дворе, по площадке, с сынком своим и Катей, дружили дети.

Пихнув Катю, сказал ей: «Ну, побежали!»

И они побежали, ловя друг друга, маневрируя между игральными конструкциями, смеясь, всё было хорошо.

Дома ждала мама — с готовым вкусным обедом.

Всё было прекрасно.

Мама не ждёт.

Практически не снится.

И, силясь понять, где она, сочинитель думает, что доказать неправоту павликиан невозможно, можно просто убить их, уничтожить под корень, но не вырвать из человечества якобы ересь, которая вполне может быть правдой.

Ещё скорбный сочинитель думает, что большинство верующих — неосознанные ариане.

Думает, как старик.

— Ма, купишь мороженое? — спрашивает Катя.

— Да, да, мам! — верещит младшая Полинка.

Они улыбаются — все, заходя в магазин.

**Жизнь не может пройти**

Мускульную силу скрывая глубиной, Ока течёт, кажется, неподвижно, и лес, раскинувшийся через поле, за лагерем — словно два крыла огромной птицы…

Зелень сочна: августовская палитра благородна, и злато, кое-где трогающее живые изумруды листвы, пока не играет особой роли…

— Мужики! — возглашает Алексей. — За хворостом кто пойдёт?

Мишка идёт, и Салтан его: роскошная, чёрная псина, неопределённой породы, с мощным хвостом и крупной головой, доброжелательный зверик…

Борис собрался, и Саша, двоюродный московский брат Алексея, на рыбалку выезжающий за компанию.

Не рыбак он.

Но колорит!

Они идут, перекидываясь репликами; реплики свободны, отдых въедается в сознание, будто вечный кайф, они приближаются к лесу, и Салтан, убегая вперёд и возвращаясь, словно мелькает между них.

— Салыч, иди рядом…

— Чё ты, Мишань?

— Да ну, иссуетился весь…

Шатры леса впускают всех: приди хоть со злыми намерениями.

А мы — со злыми?

Сушняк набирается, обламываются кусты, поднимаются павшие, словно в бою, ветки…

— Ща, дерево это трухлявое свалю… Миш, как думаешь, из Салыча хороший шашлык получится?

— А, Салыч? Как ты?

Он смотрит круглыми выпуклыми глазами, в которых отражаются фрагменты леса…

Он виляет хвостом, и так приятно гладить его по лохматой дремучей голове.

Ребята возвращаются к лагерю, таща ветки, словно многоногих, фантастических насекомых, что выловлены в качестве грядущей еды.

Следы по земле и траве стелятся длинными, замысловатыми орнаментами.

Лагерь в две палатки: обе старенькие, видавшие виды, хлопающие на ветру, между ними — организованный костерок, столик раздвинут, стулья раздвижные ж малы, но вполне можно сидеть.

И — две машины: Лёхина и Мишкина, а Боря с ним…

Спуск к Оке крут: она коварна здесь: обоймёт течением своим, утащит, утянет.

Не знаете, в реках водятся русалки?

Спуск серьёзен, в нём вырубаются земляные ступени, а снизу видны бессчётные ласточкины гнёзда, словно глазницы чудища, упрятанного под землю.

Устанавливаются удочки четырёхколенки — далеко протянуты, кажутся тоненькими.

В затончике Лёшка устроил плёнку — лесочную растяжку с крючками.

— Пойдём проверим, брательник?

— Пошли, старшой…

Идут краем обрыва, спускаются потом.

Трава здесь — не слишком буйная, одинокие, чахлые кусты вырисовываются смутными узорами, время стекает по ним, как будто.

Лёха лезет в воду: берег — глина, мягко затягивающая ступни.

Осторожно, словно смычок, сулящий музыку, пробует леску…

— Будет дело, Саш…

Стекло воды дребезжит.

Леска чуть вытягивается Алексеем, и мощная щука, изображая свой классический финт, взлетает в воздух.

Лёха уходит под воду, за нею, глубина тут начинается сразу.

Он выныривает, держа её, зубастую, снова проваливается, а, выбравшись, уже добьёт бедную рыбину…

Жестокость.

Жернова жестокости мололи человечество все века.

Удар рыбиной головой о камень прекратит её биения.

В пасти — ряды мелких, белых, хищных зубов.

Отохотилась, став добычей…

Выбираются ребята, Лёха тащит трофей: поднимает победно руки с ним: Гляди, мужики!

— Ух ты!

И Салтан ликует, маша хвостом…

Мишка лучше всех приготовит…

— Саш, не уха, — объясняет, сам обстоятельный и округлый, и говорящий — так кругло, уютно. — Похлёбка просто, но классно будет. Сейчас почву, так скать, подготовим.

Он заворачивает в марлю рыбью мелочь: колючие ерши, верхоплавки, плотвицы, и в закопчённый котелок, бокастый, на боках — как потусторонняя география — отправляет их, посолив воду.

Бутыли её везут с собой.

Если не хватает — в лесу колодец: да, да, представьте: глубокий, тёмный, окружённый какой-то подчёркнутой тишиной.

Костёр рыжеет.

Груда разнокалиберного хвороста валяется рядом…

Колокольчик звенит: Лёха и Борис срываются, чуть не скатываются по вырубленной в глинистой почве лестнице.

— Чё там?

Миха на краю обрыва…

— Подлещик! — плоское блюдо рыбы синевато мерцает…

— Большой?

— Не очень. С щукой не сравнить…

Костёр играет, облизывая бока котла.

Миха, подготовив щуку, разделав, выпотрошив, разрубив на смачные, сочные куски, отправляет их в кастрюлю, вытащив мешочек с проваренной мелочью.

Или — сначала картошка, морковка, коренья?

Саша забыл — столько лет прошло.

…в любой момент спохватываешься: сколько ж лет миновало?

И страх затягивает, и жизнь начинаешь отсчитывать от смертей близких…

Сумерки пойдут в коралловых, нежно-сиреневых оттенках.

Река течёт неподвижно.

За похлёбкой организуется гречка с тушёнкой, и тут уж Салтан воссядет рядом, жадно ожидая.

Впрочем, он ещё любит хлеб: шумно заглатывает, если протянуть, довольный пёс…

Блестит бутылочное стекло.

— Благодать, мужики!

— А то…

В стаканы разливается водка, не полные стаканы, ночь впереди, и дымится в мисках похлёбка, исходит паром, а Мишка, нарубив мелко укроп, сыплет его — так вкуснее…

Все едят, включая Салтана.

Опьянение забирает чуть, и — снова вскипает мелкая лагерная суета: Лёха достаёт припасы, Борис режет ветчину, Мишка крошит помидоры-огурцы…

— Сань, половить не хочешь? — спрашивает Борис, вновь наполняя ёмкости жидким счастьем.

— Не, Борь. Я просто присутствовать люблю…

— А ты ж ловил у меня как-то? — Алексей говорит, режа хлеб. — Я тебе самую уловистую удочку дал. Помнишь? Ты увлёкся…

— А… давно было…

Закидывал прямо с обрыва, наживляя кузнечиков.

Но — их жалко было: таких мускульно-жёстких, прекрасно организованных природным ювелиром, и наживлял всё равно, закидывал с обрыва, ждал, когда упруго уйдёт леска вниз, выдёргивал синцов и подлещиков с ладонь, не больше…

— Училка замотала. — Повествует Борис. Саша не очень в курсе их жизней. — Ест и ест. Разводиться, небось, будем.

— Подожди, ты разводился уже…

— А, вечная история…

О бабах закипит, заиграют жемчужные тела, пересекаясь со шматками пошлятины, с матом, шлёпающимся о воздух.

Саша не участвует.

Курит задумчиво.

Ему хочется говорить о иезуитах и литературе, о крестовых походах и прелести персидской миниатюры, об огромности культуры, которую никак не вписать в калужский вечер на Оке…

— Сочиняешь, Саш? — толкает его Мишка.

Он улыбается — ответом.

— Почти, Мишань. Скорее мечтаю…

Рыже мигает костёр.

Павлиний хвост, представленный им, густо великолепен, алхимическое золото играет в нём, переливаясь оранжево, и чёрные, обгоревшие стволы — как тяжёлые мысли посреди праздника.

Река словно обращается в деготь — цветом: таинственное её, великое движение, какому отвечает небесное течение в вышине, проколотое золотинками звёзд.

— Где там твоя, Алексей? — спрашивает Саша.

— А… А вон она!

Придумал некогда, рассказывал, мол, есть у меня своя звезда, где всё хорошо.

Есть одна.

Заснуть у костра не так уж безопасно.

Но никто не заснёт, палатки есть…

Палатки есть, лес теперь совсем таинственный, звёзды организуют орнаменты, река течёт неподвижно, и кажется на мгновенье, что жизнь никогда не пройдёт, не может пройти…